

ПУШКИН В РОЛИ ПОЭТА-ИЗГНАННИКА

Пушкин принадлежит к числу русских писателей, для которых темы личной свободы, тюрьмы и изгнания не были чисто поэтическими. Действительному аресту и заключению под стражу поэт никогда не подвергался, но более шести лет, с мая 1820-го по сентябрь 1826 года, провел в ссылках, лишенный возможности как вернуться в столицы, так и вообще покинуть место своего вынужденного пребывания. В отличие от «тюремной» темы (стихотворение «Узник», поэма «Братья разбойники», элегия «Андрей Шенье»), имеющей у Пушкина отчетливо литературный генезис, тема изгнания получила в его творчестве достаточно сложное преломление, во многом определенное разнообразными биографическими проекциями.¹

Появление в ноябре 1820 года в № 46 журнала «Сын отечества» стихотворения Пушкина «Погасло дневное светило...», первого законченного произведения периода южной ссылки, можно считать отправной точкой в истории русского литературного байронизма. Достаточно традиционное в жанровом отношении стихотворение, в основе которого лежал мотивный комплекс поздних элегий К. Н. Батюшкова (коллизия несчастной любви, разлуки, странствия), осложненный темой «охлаждения» и «измены» друзей и «подруг» из поэтического арсенала «унылой элегии»,² было восторженно встречено современниками, читавшими его не в элегическом или во всяком случае не только в элегическом ключе. «Не я ли наговорил ему эту байронизму...» — восклицал П. А. Вяземский.³

Лирический герой пушкинского стихотворения — оставивший родину беглец, «искатель новых впечатлений», разочаровавшийся в людях, любви и дружбе, отрекшийся от «порочных заблуждений» прежней рассеянной жизни, но носящий в исполненном «хладного страдания» сердце «глубокие раны» тайной «безумной любви», герой в русской поэзии совершенно новый — близко соотносился с байроновским Чайльд-Гарольдом. При этом в стихотворении «Погасло дневное светило...» Пушкин, вероятно, не столько сознательно воспроизвел, сколько, пользуясь словами А. И. Тургенева, «угадал»⁴ чайльд-гарольдовский литературный тип. Однако в той же степени он угадал не только литературный, но и громадный биографический потенциал выбранной модели.

¹ См. об этом также: *Кибальник С. А.* Тема изгнания в поэзии Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1991. Т. 14. С. 33—50.

² См.: *Проскурин О. А.* Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999. С. 66. Обозначая батюшковский генезис пушкинской элегии, О. А. Проскурин указывает, что на уровне языка и стиля она также «органически связана с установками и поэтическими задачами „школы гармонической точности“».

³ Письмо к А. И. Тургеневу от 27 ноября 1820 года (Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 2. С. 107).

⁴ Письмо к П. А. Вяземскому от 8 декабря 1820 года (Там же. С. 118). По-настоящему чтение Пушкиным Байрона началось позднее, когда в его распоряжении оказалось французское собрание Байрона в прозаических переводах А. Пишо и Э. де Салля. К моменту создания элегии знакомство Пушкина с творчеством Байрона было весьма приблизительным: он немного читал Байрона на Кавказе и в Гурзуфе в английском оригинале с помощью Н. Н. Раевского-младшего (см.: *Рак В. Д.* Раннее знакомство Пушкина с произведениями Байрона // Рак В. Д. Пушкин, Достоевский и другие (Вопросы текстологии, материалы к комментариям). СПб., 2003. С. 64—100; также комментарий к стихотворению «Погасло дневное светило...» в изд.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 2016. Т. 2. Кн. 2. С. 504—508).

Элегия «Погасло дневное светило...» стала первым произведением, где обозначилась характерная для пушкинского южного творчества установка на «биографизм» текста — создание «литературной биографии», «которая служила бы в глазах читателей связующим контекстом для его произведений».⁵ Шумная и публичная пушкинская петербургская жизнь и удаление его из столицы создавали вполне конкретную биографическую основу для мотивов пресыщения, измен, разочарования и конфликта с обществом. При публикации первой южной элегии эта основа Пушкиным сознательно актуализируется. Посылая стихотворение брату, Пушкин просит опубликовать его без подписи, как бы подчеркивая личный характер текста, но сообщает, что оно написано «ночью на корабле» (XIII, 19).⁶ По справедливому замечанию О. А. Проскурина, в этом, принимая во внимание известную болтливость Льва Сергеевича, можно видеть «явный расчет на то, что и имя автора, и обстоятельства создания анонимного текста немедленно станут достоянием весьма широких читательских кругов — по крайней мере, в Петербурге».⁷ Помета же «Черное море. 1820. Сентябрь», выставленная под текстом журнальной публикации, становится ключом к прочтению текста как прямо автобиографического. «Автобиографизм» лирического героя южных произведений закрепляется посланием «Ч^аадае/ву» («В стране, где я забыл тревоги прежних лет...»), напечатанным год спустя уже за полной подписью Пушкина и варьирующим в принципе те же элегические мотивы. Он получает дальнейшее развитие в поэме «Кавказский пленник», где граница между героем поэмы и повествователем также оказывается проницаемой, что прямо заявлено в «Посвящении»:

Ты здесь найдешь воспоминанья,
Быть может, милых сердцу дней,
Противуречия страстей,
Мечты знакомые, знакомые страданья
И тайный глас души моей.

(IV, 92)

В письме к В. П. Горчакову от октября—ноября 1822 года Пушкин по существу ставит знак равенства между собой и героем: «Характер Пленника неудачен; доказывает это, что я не гождусь в герои романтического стихотворения» (XIII, 52). С героем поэмы в свою очередь связаны элегии «Я пережил свои желанья...», которую Пушкин одно время предполагал прямо включить в монолог Пленника, но в конечном счете напечатал отдельно за своей подписью, и «Мой друг, забыты мной следы минувших лет...», развивающая мотивы монолога Пленника из второй части (ст. 44—91).

Рефлексы чайльд-гарольдовского образа, с одной стороны, и бунтарское независимое поведение поэта, с другой, провоцировали современников соотносить его с Байроном. «Пушкин написал другую поэму: „Кавказский пленник“; но в поведении не исправился: хочет непременно не одним талантом походить на Байрона», — писал А. И. Тургенев к И. И. Дмитриеву 13 мая 1821 года.⁸ Издание «Кавказского пленника» выдавалось читателям с юно-

⁵ Лотман Ю. М. А. С. Пушкин: Биография писателя // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки. 1960—1990; «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1995. С. 71.

⁶ Письмо Л. С. Пушкину от 24 сентября 1820 года. Здесь и далее ссылки на произведения Пушкина даются по изданию: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1937—1949. Т. 1—16; 1959. Т. 17: Справочный том (с указанием в тексте статьи номера тома и страницы).

⁷ Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. С. 60.

⁸ Русский архив. 1867. № 4. Стб. 664.

шеским портретом автора — гравюрой Е. Гейтмана, явно стилизованной под известный портрет Байрона в мягкой рубашке с расстегнутым воротом.⁹

Характерной особенностью «байронической» модели, выбранной Пушкиным на юге для построения своей «литературной личности», является то, что изгнание в ней всегда добровольно. Это «бегство» героя, сознательный разрыв с прежней жизнью, по сути синонимичный обретению им свободы.

Оставя шумный круг безумцев молодых,
В изгнании моем я не жалел о них...

⟨...⟩

И, сети разорвав, где бился я в плену,
Для сердца новую вкушаю тишину.

⟨...⟩

Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы...

(«Ч(аадае)ву» (II, 187))

Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.

Свобода! он одной тебя
Еще искал в пустынном мире.

(«Кавказский пленник» (IV, 95))

О свободе Пушкин говорит и в Посвящении к «Кавказскому пленнику», непосредственно от своего имени:

Но сердце укрепив свободой и терпением,
Я ждал беспечно лучших дней...

(IV, 92)

«Автобиографический» лирический герой, создаваемый Пушкиным, заключал в себе некоторое очевидное противоречие. Конечно, ссылка Пушкина, стараниями друзей внешне оформленная как перевод по службе, при желании могла быть представлена добровольным изгнанием. Тем более что под началом генерала И. Н. Инзова, без особого рвения исполнявшего обязанности полицейского надзора за ссыльным поэтом, Пушкин чувствовал себя не очень стесненно. Его ссылка началась с поездки на Кавказские минеральные воды и в Крым с Раевскими; в дальнейшем Инзов также не препятствовал временным отлучкам Пушкина из Кишинева — в Одессу, имение Давыдовых Каменка, Киев. Однако заявление Пушкина в письме к Дельвигу от 23 марта 1821 года: «Недавно приехал в Кишенев и скоро оставляю благословенную Бессарабию — есть страны благословеннее» (XIII, 26) — носило литературный характер. Пушкин обладал лишь весьма условной и ограниченной свободой ссыльного, и чайльд-гарольдовский образ разочарованного «беглеца» утверждался в его творчестве в борьбе с иной литературной моделью поэта-изгнанника, дающей иной тип биографической проекции, гораздо более близкий реальным пушкинским обстоятельствам.

По свидетельству кишиневского приятеля поэта И. П. Липранди, первой книгой, взятой у него Пушкиным после знакомства в 1820 году, были

⁹ Отмечено Ю. М. Лотманом: *Лотман Ю. М. А. С. Пушкин: Биография писателя*. С. 71. Идея портрета, несомненно, принадлежала не Пушкину.

сочинения Овидия во французском переводе.¹⁰ Само пребывание в местах, близких к тем, где прошли последние годы жизни Овидия, высланного императором Августом в 8 г. н. э. из Рима на далекую окраину империи, в устье Дуная, подсказывало Пушкину сопоставление своей судьбы с судьбой римского поэта. Образ Овидия, как отмечал Ю. М. Лотман, сыграл большую роль в «самоосмыслении» Пушкина, задавая «масштаб для измерения собственной личности».¹¹ Его имя звучит в стихотворениях «Кто видел край, где роскошью природы...» (1821), «(Из письма к Н. И. Гнедичу)» («В стране, где Юлией венчанный...») (1821), «Ч^аадае^ву» («В стране, где я забыл тревоги прежних лет...») (1821), «К Овидию» (1821), «Баратынскому из Бессарабии» (1822). Отсылая Н. И. Гнедичу 29 апреля 1822 года рукопись поэмы «Кавказский пленник», Пушкин начинает письмо с латинской цитаты из первой элегии первой книги «Скорбных элегий» («*Tristia*»): «*Parve — nec invideo — sine me, liber, ibis in urbem, / ei mihi, quo domino non licet ire tuo! / vade, sed incultus, qualem decet exulis esse...*»¹² (XIII, 37); скрытое уподобление себя Овидию содержится в письме к Гнедичу от 27 июня 1822 года: «Пожалейте обо мне: живу меж гетов и сарматов; никто не понимает меня» (XIII, 39). И. П. Липранди вспоминал, что Пушкин «сам любил себя сравнивать с Овидием» и что другой пушкинский кишиневский знакомый, В. Ф. Раевский, называл поэта «Овидиевым племянником».¹³

Вместе с тем лирический герой пушкинских южных стихотворений не уподобляется Овидию, но напротив, все время ему противопоставляется: «Где элегическую лиру / Глухому своему кумиру / Он малодушно посвятил...» — «Октавию — в слепой надежде — / Молебнов лести не пою» («(Из письма к Н. И. Гнедичу)») (II, 170); «Твой безотрадный плач места сии прославил...» — «Суровый славянин, я слез не проливал...» («К Овидию») (II, 218—219). В стихотворении «К Овидию» Пушкин, казалось бы, прямо сравнивает себя с римским поэтом:

Как ты, враждующей покорствуя судьбе,
Не славой — участью я равен был тебе.

(II, 220)

Это сравнение, однако, не согласуется с данной несколькими строками выше автохарактеристикой, выдержанной в полном соответствии с чайльд-гарольдовским образом беглеца:

...изгнанник самовольный,
И светом, и собой, и жизнью недовольный,
С душой задумчивой я ныне посетил
Страну, где грустный век ты некогда влачил.

(II, 219)

Происходящая здесь своего рода экспансия чайльд-гарольдовских мотивов в овидиевскую литературную модель неожиданным образом повторяется у Пушкина несколькими годами позднее в поэме «Цыганы», в пересказе бытовавшей в Бессарабии легенды об Овидии:

Царем когда-то сослан был
Полудня житель к нам в изгнанье...

¹⁰ См.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 306.

¹¹ Лотман Ю. М. А. С. Пушкин: Биография писателя. С. 66.

¹² Так, без хозяина в путь отправляешься, малый мой свиток, / В Град, куда мне, увя, доступа нет самому. / Не нарядившись, иди, как сосланным быть подобает (*лат.*). — Пер. С. В. Шервинского.

¹³ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 327, 328.

⟨...⟩

Он ждал: придет ли избавленье.
И всё несчастный тосковал,
Бродя по берегам Дуная,
Да горьки слезы проливал,
Свой дальний град вспоминая...

(IV, 186—187)

Для старого цыгана, в уста которого вложена легенда, рассказ об Овидии иллюстрирует тезис: «Но не всегда мила свобода / Тому, кто к неге приучен» (IV, 186). Внимательный читатель поэмы П. А. Вяземский сразу же указал на невольный пушкинский алогизм. Отчеркнув соответствующее место в своем экземпляре «Цыган», он записал на полях: «Можно ли называть свободой ссылку?»¹⁴ В печатной рецензии на «Цыган» Вяземский выразил свою мысль более обтекаемо: «Легко согласиться, что насильственная свобода сосланного может быть для него и не слишком мила».¹⁵

На самом деле, как для Овидия свобода заключалась в возможности вернуться в Рим, так и для Пушкина — вернуться в Петербург, и, как Овидий просил о помощи своих римских друзей, Пушкин просил петербургских: «...Жуковск⟨ому⟩ я писал, он мне не отвечает; министру я писал — он и в ус не дует — о други, Августу мольбы мои несите!» (письмо Л. С. Пушкину от октября 1822 года — XIII, 51). Первые годы ссылки Пушкин жил надеждами на скорое возвращение, но они постепенно таяли, а после полученного поэтом в марте 1823 года отказа даже в кратком отпуске почти исчезли.

Прибегнув к оксюмору Вяземского, можно было бы сказать, что в насильственной свободе пушкинского изгнания степень свободы последовательно уменьшалась. Оказавшись в Михайловском, поэт говорит о себе уже как о заключенном:

Всегда гоним, теперь в изгнании
Влачу закованные дни
(II, 322)

С чайльд-гарольдовским мотивным комплексом, а вместе с ним и с «императивным биографизмом»¹⁶ Пушкин, однако, расстался еще на юге. В последних строфах оконченной 22 октября 1823 года первой главы «Евгения Онегина» мотивы странствия и обретаемой в нем свободы звучат, но переносятся в желаемое будущее, не являясь конституирующими для образа лирического субъекта (в данном случае автора-повествователя):

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — зываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами споря,

¹⁴ См.: Пушкин в прижизненной критике. 1820—1827. СПб., 2001. С. 462.

¹⁵ Московский телеграф. 1827. Ч. 15. № 10. Отд. 1. С. 118. Цит. по: Пушкин в прижизненной критике. 1820—1827. С. 321.

¹⁶ По определению Б. В. Томашевского, характерная черта южной лирики Пушкина. «...Из реальных фактов (по тщательной их переборке), из некоторой биографической инсценировки, из муссированных биографических мотивов создается литературная биография-миф, не всегда сведенная, не всегда согласованная» (Томашевский Б. В. Пушкин: Современные проблемы историко-литературного изучения // Томашевский Б. В. Пушкин: Работы разных лет. М., 1990. С. 46—47).

По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?
(VI, 25—26)

Для лирического героя написанного по приезду в Михайловское стихотворения «К морю», пронизанного байроновскими темами и образами, любовь оказывается выше «поэтического побега» по морским волнам:

Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован
У берегов остался я...
(II, 332)

В заключение заметим, что ушедший из пушкинской поэзии чайльд-гарольдовский мотив добровольного изгнаничества, бегства от света и общества с целью обрести свободу, был дважды едва не реализован Пушкиным в собственной биографии. В январе 1830 года Пушкин пытался уехать на границу Китая (то есть на самую глухую и отдаленную окраину империи) с экспедицией П. Л. Шиллинга фон Канштадта и Н. Я. Бичурина. В 1835 году стремился скрыться на «три или четыре» года «уединенной жизни в деревне» (в 1824 году воспринимавшейся им почти как тюремное заключение). К несчастью, русский поэт мог покинуть столицы лишь с разрешения властей,¹⁷ и в обоих случаях ему было отказано в добровольном изгнаничестве.

¹⁷ См. письма Пушкина к начальнику III Отделения А. Х. Бенкендорфу от 7 января 1830-го и 1 июня 1835 года (XIV, 56; XVI, 31).

DOI: 10.31860/0131-6095-2018-4-25-32

© СТЕФАНО ГАРДЗОНИО (Италия)

СИЛЬВИО ПЕЛЛИКО В РОССИИ ОТ ПУШКИНА ДО СОЛЖЕНИЦЫНА

В статье, посвященной итальянскому переводу романа Солженицына «В круге первом», известный писатель Манлио Канконьи отмечал: «Мы все в школе читали, что „Мои темницы“ Сильвио Пеллико нанесли Габсбургской монархии больше вреда, чем одно поражение на поле битвы. А мы можем быть полностью уверены, что книга Солженицына, которая рассказывает о гораздо более ужасной форме заключения, ничего не изменит. Не говорю в России, это было бы уже слишком, но даже в западном мире».¹

Параллель между знаменитой книгой Пеллико и лагерной прозой Солженицына проводилась неоднократно и отражает, как известно, существенный интерес и знакомство с итальянской книгой самого Солженицына.

В «Архипелаге ГУЛАГ» (Ч. IV: «Душа и колючая проволока»), мы встречаем имя итальянского пленника дважды: «Что тюрьма глубоко перерождает человека, известно уже много столетий. Бесчисленны здесь примеры — таких, как Сильвио Пеллико: отсидев 8 лет, он превратился из

¹ *Cancogni M. Il Primo Cerchio*, in *Così parlò Carpendras*. Roma, 2013. Статья появилась впервые на страницах журнала «La Fiera Letteraria» (1 августа 1968 года). Здесь и далее перевод с итальянского, кроме особо оговоренных случаев, мой. — С. Г.